

ОЖИВАЕТ

в литературе, истории и кино

ный солдатик. Сегодня этого солдатика объявили бы вне закона, потому что война — это плохо, а женщины недостойны его стойкости. Но я развернул свое оловянное войско для иных целей, нежели скучные баталии. Я стал сам себе Вальтером Скоттом. Я стал сам себе «Парамаунтом» — Вышим Жрецом, Автором, почти Богом, по любимому выражению кинокритиков.

Однажды в кинотеатре «Синяя курица» в штате Делавар я посмотрел фильм «Любовная песня Нила» с Рамоном Наварро и Хелли Бродерик в главных ролях — фильм, воспоминания о котором связаны с чем-то очень глубоким в моей памяти. Но я точно помню, что в голове моей, как заноза, засела мысль о Египте после просмотра картины «Мумия» с Борисом Карлофф. От ленты этой остались неизгладимые впечатления. В те времена фильм смотрелся и воспринимался как бы единожды и на всю оставшуюся жизнь. Шансы на то, что ты его когда-нибудь увидишь еще раз, были крайне малы. Не были созданы еще музеи современного искусства, не придумали еще киноретроспективы. Сегодня, имея видеокассету, фильм можно смотреть, сколько захочешь. Но мы, зная тогда, что первый сеанс может оказаться и последним, умели концентрироваться полностью.

В известном смысле такая вот способность глубоко воспринимать фильм с первого просмотра — это возвращение к той литературной традиции, когда эпос времен Гомера передавался из уст в

уста лишь благодаря изощренной памяти рассказчика. Так или иначе, в семь лет я столкнулся не с гневом Ахилла, но с одержимостью человека, который был мертв уже в течение трех тысяч лет. Никогда не забуду, как впервые смотрел на мумию так близко и пристально, подобно тому, как археолог пристально изучает письмена на древнем папирусе. Медленно-медленно рука, обернутая в бинты, начинает двигаться. Археолог случайно поворачивает голову — он смотрит на то, что происходит за кадром, — начинает смеяться, но так и не может остановиться. Он трогается умом.

Пятьдесят восемь лет спустя я посмотрел этот фильм еще раз. И вдруг я почувствовал, что мне опять семь лет, что мой рот слегка приоткрыт от изумления, а я будто бы нахожусь одновременно и в Древнем Египте, и в Вашингтоне накануне эпохи империализма. Когда погас последний кадр, мир семилетнего мальчика растаял, и от него ничего не осталось, кроме, может быть, старой пленки 20-х годов, на которую скрытая камера снимала людей, спешащих по улице. Они сейчас мертвы, эти люди, но на экране они шнуют туда-сюда по делам, не чувствуя направленной на них камеры, снимающей для вечности фильм, в котором они будут живы всегда.

Что так влечет к «Мумии», помимо могильного ужаса? Очевидно, любое подтверждение того, что жизнь продолжается после смерти, может найти отклик в душе любого человека, кроме просвещенного буддиста. Никто не хо-

чет просто так уйти в небытие. Не отсюда ли необычная популярность рассказов и фильмов о призраках или о посещениях рая? Это в природе человека — жить в ожидании рая, даже если на земле царит ад.

Некоторое время после того как я посмотрел «Мумию», я хотел стать археологом, но только не таким, которого играл Брамвел Флетчер, — его маниакальный смех преследует меня доныне. (Много лет спустя Флетчер сыграл роль в первой пьесе, которую я написал для телевидения). Я предпочел другого археолога, которого сыграл Дэвид Маннерс, блеснувший в «Римском скандале» (1933) — еще одном фильме, открывшем для меня дорогу в прошлое, в котором я прожил большую часть сознательной жизни, нежели в настоящем.

МОИ самые яркие впечатления от походов в кино приходятся на время с 1932 по 1939 год — с семи до четырнадцати лет. Фильмы, увиденные до наступления половой зрелости, оставляют в памяти наиболее глубокий след. «Сон в летнюю ночь», «Мумия», «Римские скандалы», «Последние дни Помпеи». Древний Египет, классический Рим, Шекспир, который в то время еще не превзошел на экране божественного Овидия.

Но прежде я увидел живую историю в том, 1932 году, еще до того, как она была экранизирована. Около тысячи ветеранов первой мировой явились в столицу, чтобы потребовать компенсацию за свое участие в той, по мнению многих, бесполезной войне. К июню их было уже около 17 тысяч, и они расположились в пустующих зданиях близ Капитолия. Город был в панике. Поговаривали о революции. Подобной французской или той, что недавно имела место в России.

Мне казалось, когда я слу-

шал разговоры взрослых, что те ветераны должны быть похожи на белые скелеты. Костлявые фигуры стали приходить ко мне во сне, пока мне не объяснили, что к чему. Мой дед был против того, чтобы давать ветеранам пособие. В свое время ярый популист из верховьев Миссисипи, автор единственной в своем роде социалистической конституции для пятидесяти американских штатов, он пришел к выводу, что если была бы на свете иная раса, нежели человеческая, то он бы с удовольствием присоединился к ней. Он был истинным популистом, но это не равнозначно любви к людям. Он всегда говорил «нет» всем тем, кто просил помощи у государства. С другой стороны, он верил в справедливость как необходимый элемент демократии — для каждого в равной степени.

А лето становилось все жарче, а Депрессия все глубже. В конгрессе все дебатировалось, вопрос, давать или не давать пособие ветеранам. Поползли слухи: они собираются штурмовать Белый дом, они поджигают Капитолий, и самое ужасное для меня — они начинают грабить кондитерские. Мне снились марширующие скелеты, и среди них Борис Карлофф, весь обмотанный могильными бинтами.

17 июня 1932 года сенат собрался, чтобы голосовать по вопросу Билля о пособии. Я поехал с дедом на машине в Капитолий. За рулем был Дэвис, его чернокожий водитель и вообще мастер на все руки. Я выглядывал из окна, чтобы наконец-то увидеть тех ужасных ветеранов, связанных с моими ночными кошмарами. Но я увидел жалко выглядевших людей в лохмотьях, которые держали плакаты и что-то кричали проезжавшим мимо машинам. Но прежде чем мы проехали сквозь их строй, сенатора Гора опознали. Раздались яростные крики. В окно

машины влетел камень и упал между мной и дедом. Мне запомнились слова деду: «Закрой окно», что я и сделал.

Вскоре после всего этого ветеранов разогнали войска под руководством генерала Мак-Артура и его помощника майора Эйзенхауэра. Был открыт огонь, не обошлось без жертв. В следующее воскресенье мы с отцом прошли по кварталам, где жили восставшие. В тех местах, где раньше стояли их наспех сложенные палатки, все еще дымились костры. Место выглядело, как большая человеческая свалка. В известном смысле, как свалка, куда в качестве отходов сбрасывали человеческий материал.

С того самого времени я настороженно относился ко всем фильмам о французской или русской революциях. И я уже знал не только, что такое может случиться, я знал, что такое обязательно должно случиться.

Конечно, после волны беспорядков и недовольства в 60-х, как эхо докатившейся и вызвавшей легкие сотрясения в 90-х, я не собираюсь ставить проницательность себе в заслугу. Но когда я оглядываюсь на прошлое, все случившееся представляется мне зловещим предзнаменованием тех событий, которые должны были произойти через некоторое время, и мне приходит мысль о хрупкости нашего уникального государства, в котором каждый имеет право самостоятельно охотиться за своим счастьем, имея под ногами твердый тезис Джефферсона о том, что настоящее принадлежит живущим. Но если при этом богатые слишком богаты, а бедные не могут найти куска хлеба в трудные времена, то чем тогда поливать дерево свободы?

Перевод
Т. СЕРГЕЕВА.

Фото из газеты «Обсервер».